

Дорогим моим и
любимым Сасишам
(Саленьке и Сасику)
— с нежностью, любовью,
и великим прошлым
распродавая краснейшим
зубовашам —
еще раз люблю и
целую —
Александр Галич

Зариски 1970-е

Не я пишу стихи.
Они, как повесть, пишут Меня,
и жизни ход сопровождает их.
Борис Пастернак —
из Тициана Табидзе

Жачну с пустяка, который вдобавок способен кого-то настроить даже на иронический лад. Вспоминаю, как зашел к Александру Галичу — уже в пору гонений, безработицы и безденежья, когда кое-что из книг и вещей распродавалось, а эмиграция... Нет, с нею еще не было решено, хотя судьба, воплощенная в карательной воле властей, ее исподволь готовила.

Дверь открыла Ангелина Николаевна, для меня, как для многих, Ююша, эксцентрическая красавица, прозванная за худобу Фанерой Милосской. Облобызались по московской привычке.

— Заходи. Только — прости, Саша сейчас появится. У него маникюрша.

И я, по крайней мере мысленно, со всем плебейством своим сползаю от смеху на пол. Именно это вспомнилось, пожалуй, не без полемического позыва.

Не так давно в «Вечерней Москве» я, говоря о нашумевшем «Дневнике» Юрия Нагибина, цитировал запись от 27 декабря 1977 года — некрологический отклик на смерть Галича. Не утомляя памятливого читателя (вдруг найдется такой?), однако учитывая и тех, кто статью отнюдь не читал, ограничусь клочками текста: «...Саша спел свою песню. Ему сказочно повезло. Он был пихон, внешний человек, с блеском и обаянием, актер до мозга костей, эстражник, а сыграть ему пришлось почти что короля Лира — предательство близких, гонения, изгнание... Если б ему повезло с театром, если б его пьески шли, он плевал бы с высокой горы на всякие свободололюбивые затеи... Но ему сделали высокую судьбу... А ведь был человек больной, надорванный пьянством, наркотиками, страшной Анькой».

И т. д. В той же «вечерочной» статье (1996, 21 мая) я отмечал то, чего не отметить и не заметить нельзя, — сходство этого странного монолога зависти с другим, из «Мастера и Маргариты», когда неудачливый и бездарный (в прямом отличие от Нагибина) стихотворец Рюхин обращается к памятнику Пушкину: «Вот пример настоящей удачливости... Что бы ни случилось с ним, все шло ему на пользу... Повезло, повезло!.. Стрелял, стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро и обеспечил бессмертие...».

Ну в точности, как и с «Сашей», бабником и жуиром, слабовольным и тщеславным: «Ему сказочно повезло». «...Все шло ему на пользу...».

Нет, разумеется, не равняю с Александром Сергеевичем Александром Аркадьевичем; сопоставима только логика зависти. Но все же — именно логика, а не что иное. Судьба Галича, который и для меня, как для Нагибина, был Сашей и другом (только в периодах мы не совпали с покойным Юрием Марковичем: он дружил с ним в его «допесенный» период, я же подружился, когда знаменитые песни рождались, а репутация переставала быть лояльной), — эта судьба в самом деле способна по меньшей мере озадачить.

Благополучный, в общем, драматург (так, во всяком случае, выглядело на поверхности, куда не доносились скрипы и стоны запрещенных спектаклей, изувеченных пьес, задуманных замыслов), светский щеголь, гурман, — а в финале битый, отовсюду выпертый диссидент, друг Сахарова (к чему, признаюсь и каюсь, сам я сперва отнесся не всерьез, даже и повидав Андрея Дмитриевича в доме у Саши). Наконец, эмигрант... Верней, **накопец** — это дурацкая гибель от электрошока, за которой последовала столь же нелепая смерть «Аньки», Ююши, к концу своей жизни опухшей, обезноженной и то ли сгоревшей, то ли задохнувшейся во время пожара ее парижской квартиры. Хотя и это не все: погибнет и Галя, Ююшина дочь и Сашина падчерица, оставшаяся в Союзе и, естественно, за порочащее родство совсем не изящно изгнанная из Музея изящных искусств, с места службы.

Сейчас издатели более или менее полно Галича порой уверяют, что перелома и разрыва в судьбе не было: он, мол, всегда был один и тот же, пьесы столь же талантливы и смелы, как его песенная поэзия (чье рождение, кстати, было подстегнуто, о чем он сам, смеясь, рассказывал, полусерьезной ровностью: «Булат может, а я не могу?» — и на свет явилась Леночка из городской милицейской сказки, она же «шахиня Л. Потапова» — сразу удача, сразу шедевр). Да нет. Был перелом, чреватый разрывом с прошлой жизнью.

Разумеется, Галич имел право ответить на ехидный вопрос, который ему задали на полуправильном, еще тутушном выступлении — насчет того, не стыдится ли он себя бывшего. Что ж, сказал он, работа есть работа, другой я не знаю, но ни в единой строке, которую я когда-либо написал, я не погрешил против Бога... Правда, с другой стороны, тот же сто-

ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ПОВЕЗЛО

5

Еженедельник
№38

ронный вопрос болезненно сидел в нем самом, и, скажем, когда в писательском доме творчества, в Малеевке, где показали старый фильм, в котором он участвовал единственно ради заработка, Саша все беспокоился: «Ребята, скажите прямо, там нет подлости?». И мы его утешили: «Успокойся, подлости нет, фильм просто дерьмовый».

Прежний, «старый» Галич, драматург и сценарист, был **одним из** — неважно, лучше ли, хуже — многих. И если неправ некий его почитатель, вспоминавший, как влюбленности в «новые» песни сопутствовала оторопь: неужели, дескать, **такое** сумел сочинить драмодел вроде Сухова или Софронова, — если, говорю, эта неразборчивость несправедлива, то вполне было можно спутать «Походный марш» Галича с какими-нибудь «Товарищами романтиками» Соболя. Да и нашумевшие в свое время калатозовские «Верные друзья»... Ладно, оставим то, что прорылось-таки в свет (и, пробиваясь, оставляло ключья живой плоти на колючей проволоке цензуры), но вот легендарная «Матросская тишина», пьеса, с которой собирались начать свой путь ефремовский «Современник», — даже она, заперченная властью, главным образом из-за «еврейской темы», есть, в сущности, образцовое советское произведение. Образцово! Уж не софроновско-суровская стряпня, ибо представляла наш строй способным к самокритичности, то бишь облагоустроенным, и когда Галич дал мне прочесть «Тишину» — годы спустя после несостоявшейся премьеры, — я рубанул довольно безжалостно: «Это о том, что евреи любят Советскую власть не меньше всех прочих». И Саша не обиделся, хотя согласился вряд ли.

Впрочем, сейчас подумал: а с чего бы ему обижаться? Если б я не был резок по своему тогдашнему, молодому обычаю, то нарочно б не мог придумать более тонкой лести «новому» Галичу. Я же тем самым потакал его честолюбию, которое питалось уже успехом песен.

сти в русской истории и культуре, того, в чем вообще нуждаются поэты: оттого само чувство соседности оборачивалось трогательно, соседствовало с неуверенностью. Так, именно он пытался влюбить меня в Высоцкого, крутя и крутя его записи (можно сказать, поделить меня между ним и собою), а я топорщился: обижало, что тот популярнее Галича. Или — гостюем и бражничаем в открытом доме Саши и Ююши («Приходите, ребята! Сельдя заколем!» — таков был телефонно-застывший Галичев клич), и он принимается восхвалять только что читанную книжку стихотворца-соседа, мастеровитого пустозвона: ах, что за поэт! Я смолчал, но к концу вечера, когда он уже отпел свое, и застолье превратилось в то, во что превращаются все застолья, в дружельюбный и бессмысленный гомон, сказал ему на ухо:

— Ну, признавайся! Ты ведь потому так расхваливал эту книжку, что прочел ее и испугался: «Я так не умею!».

И он ответил покаянным шепотом:

— Точно!

В ту пору — в 60-е — я писал в стол довольно пространный труд «Средние люди», основным персонажем которого был полузапретный Зоценко, и решил присочинить главу уже о совсем запретной **зоценкиаде** Галича, — стимул, как теперь понимаю, был чисто творческим только наполовину: хотелось хоть как-нибудь возместить его чувство недополученности. Да отчасти и тогда понимал. Как бы то ни было, прочел Галичам несколько глав: он жадно слушал, как я его превозношу, но когда Ююша сказала: «Про Михаила Михайловича все-таки лучше, чем про Сашу», не возразил. А я получил урок: нельзя непрофессионально писать, имея хоть малый расчет сделать приятность тому, о ком пишешь, — даже если не кривись при этом душой. (Вот того, что Галичу не прочесть моей книжки о нем, вышедшей несколько лет назад, этого жаль — бессмысленно, эгоистически).

Жолучил ли он свое в эмиграции? Есть документальный фильм, если не ошибаюсь, норвежский: Саша поет на какой-то астраде «Когда я вернусь...», а вокруг толчется, жует, не слушает черно- и смуглокожий люд. Видеть это — мучительно. И вообще... Да, он получил свои пластинки и книги, но его эмигрантская участь все-таки хуже многих.

Испуг впасть в шаблон живучее самого шаблона. Пугают примеры того, как Алексей Толстой, Маяковский да хоть бы и Ильф с Петровым, вернувшись **оттуда**, докладывали: Бунин исписался, Рахманинов опустошился, Шаляпин обезглотел. Однако — что делать. Убеждаюсь, читая и перечитывая: ничто из сочиненного Галичем там не идет в сравнение с созданным **здесь**. Почему? Причин вижу несколько, в том числе частных, но вот, может быть, главная: он нуждался в нашем ужасном, в милом ему быте, в любовно внимающей аудитории... Да какая аудитория! Залы он как раз обрел именно за границей, а нужен ему был круг. Кружок. Ведь песня — не роман, не поэма, у нее два полюса, два соавтора: собственно автор и тот, кто внимает. И от качества соучастующих весьма зависит, получится ли холодноватая декламация (Галича не обошедшая) или песня про Клима Петровича. «Размышление о том, как пить на троих». «Мы похоронены где-то под Нарвой». Про товарища Парамонову. Про психа-братана в Белых Столбах, где «шизофреники вяжут венки, а параноики рисуют нолики». Или — «Ночной дозор», «Облака»...

Как там у Нагибина? «Пихон, внешний человек», греховность, изнеженность? И ведь не скажешь, что все — неправда. Но есть наивысшая правда, заверенная двумя великими поэтами, грузинским и русским: «Не я пишу стихи». Счет в повести-жизни, которая разворачивает свой сюжет по образу и подобию этих стихов, подчас в противоречии с житейскими намерениями поэта, — этот счет особенный. Приходит готовность платить за единожды сделанный выбор многим — и не одним лишь неглавным, вроде комфорта; на кон ставятся и свобода, и жизнь. Галич — поставил, и в этом его (согласимся со всеми завистниками) невероятное везение. «Все шло ему на пользу...».

Одна из его песен, озаглавленная травестийно-игриво — «Летят утки», с рефреном про шестерых утят, летящих с севера (про шестерых, которых становится пять, потом меньше, меньше), заканчивается, верней, обрывается речитативом: «И если долетит хоть один, значит, стоило, значит, надо было лететь!..». Помню, как, непрошено поддавись редакторскому зуду, я угосваривал Галича изменить последние слова. Что ж, спрашивал я, если не долетит ни один, значит, и лететь не стоило? Где логика?

Он словно бы согласился — однако оставил, как есть. И, вопреки моей рациональности, прав: «хоть один» — это надежда, оставленная нам и себе, всегда необходимая, всегда согревающая. Будь то даже смешная выдумка насчет одобрения, полученного от князя Юсупова, он же граф Сумароков-Эльстон.

Станислав РАССАДИН
Фото из семейного альбома
А.АРХАНГЕЛЬСКОЙ-ГАЛИЧ



Вспоминаю — опять — забавное. В свою благополучную пору Галич жила в Париже — и не кратким наездом, а будучи со сценаристом советско-французского фильма о Мариусе Петипа (ужасного!). И среди его рассказов о пребывании там, обычно перебиваемых Ююшей, которая знала, что говорила: «Давай, давай, расскажи про своих мидинеток!», был такой. Ресторан... Не упомню, какой именно, но известный, облюбованный старой эмиграцией. Кто-то из «бывших наших» пригласил туда Сашу, и тот присел под конец к фортепьяно и, наигрывая, спел что-то из своего; в частности, как мне запомнилось, песню о Полежаеве: «Тезка мой и зависть тайная...». После чего к нему подошел очень красивый старик, сказал что-то лестное и удалился. «Кто это?» — спросил Галич. «Феликс», — ответили ему с такой интонацией, словно плечами пожали: сам, что ль, не догадался?

— Какой Феликс? — в свою очередь глупо спросил я.

— Юсупов, — потупился Саша.

И лишь после, случайно узнав, что убийца Распутина, будучи болен психически, не покидал квартиры, я понял: **выдумал!** И — восхитился выдумкой.

Это ведь как у того же Булгакова, в «Записках покойника»: Аристарх Платонович, шарж на Немировича-Данченко, изъясляет в письме, посланном в Москву из Индии, свои претензии к Гангу: «По-моему, этой реке чего-то не хватает». Прелестно — вопреки ядовитым намерениям автора, Немировича ненавидевшего; прелестный жест режиссера-художника, для которого Божий мир нуждается в улучшении, в режиссуре. Так и у Галича. Ну все замечательно! Париж! Ресторан с реликтовой клиентурой! Но — чего-то не хватает... Чего? Кого? Бунин умер — пусть будет Феликс Юсупов!

Признания не хватало? Точнее — его осязаемого воплощения? (Помните? «Ох, как мне хочется, взрослому, потрогать пальцами книжку и прочесть на обложке фамилию, не чью-нибудь, а мою!..»). Скорей — подтверждения собственной закономерно-